

АЛЕКСЕЙ ТАТАРИНОВ

“ОГРОМНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СЧАСТЬЯ”

Проза Михаила Тарковского

Современный писатель редко радуется присутствием биографии. Зажатый тисками мегаполисов, он ничего не видит и не слышит, он только думает и концептуализирует. Михаил Тарковский – другой: словно чувствуя гнет династии творцов (дед – Арсений Тарковский, дядя – Андрей Тарковский), Михаил Александрович еще в молодости совершил исход: покинул Москву ради сибирских глубин, стал охотником и человеком Енисея.

Новейшая литература (я говорю об относительно тиражной продукции двух монополистов – “Эксмо” и “АСТ”) стоит на двух китах: шок-фабула и шок-стиль. Надо, чтобы читателя трясло от события-триллера и речевого потока ненормативности. По сюжету бежит непристойно голый человек, а по языковой дорожке скачет его вывернутый наизнанку внутренний мир. Читателю от этих зигзагов должно стать хорошо.

“Пересказывать бесполезно”, “прочитайте его отдельно, выделите день...” – пишет М. Тарковский о произведениях В. Астафьева и В. Распутина. Художественный мир не поддается захвату, словесное искусство – не для овладения *кратким содержанием*. Лишь становясь нашей нравственно-эстетической протяженностью, литература приступает к делу преобразования. Или она ничего не в силах изменить? “...Одолеть это сомнение и отчаяние можно только через глубочайшее смирение перед своей долей-задачей русского художника, который во все лихолетья чувствовал ответственность и обязанность быть плакальщиком и защитником родной земли и всегда учился силе у простых людей”, – читаем в очерке “Речные писатели”.

Тарковский приходит к нам с посланием о неторопливой протяженности жизни, обретающей вертикаль в простоте и глубине повседневности. Представление о становлении мысли и настроения в прозе Тарковского дает рассказ “Васька”. Два охотника – опытный Николай и совсем молодой Васька – на месяцы оказываются в лесной совместности. Герой, чье имя видим в заголовке, всем недоволен, всё его раздражает, усиливает тоску, подбрасывает мысли о несовершенстве напарника. Васька не может остановиться в нарастающем негативизме и оказывается запертым внутри страдающего от изолированности “Я”. Поворотный для нравственного сюжета момент – воспоминание юноши о своем сиротстве, об утонувшем отце, но главное – о мгновении счастья и душевной близости, когда ночью у костра, незадолго до гибели отец положил руку на плечо сына и молчал в задумчивости. Вторая глава рассказа

предлагает нам две формы времени. Первая – календарная: прошло три месяца. Вторая – смысловая: Васька, словно напитавшись образом исчезнувшего, но любящего отца, – в хорошем настроении, в любви ко всему окружающему, в “погружении в сердцевину бытия”. Перед возвращением из леса в деревню Ваське приснилась смерть бабушки – последнего родного человека, и сон мучил реальностью утраты. Последняя фраза – явление типичной для Тарковского катарсичности: “А потом показался дом на угоре и на крыльце стояла бабушка в красном платке и фуфайке, с охапкой дров, и, когда гул стих, она все что-то искала сморщенным лицом у него на груди, а он гладил ее по вздрагивающей стеганой спине и говорил несвоими губами: “Ну, будет, будет”, а над огромным Енисеем гнал ветер синюю пыль и ехало по зубчатому горизонту сплюснутое сказочное солнце”. Классический для литературы трагический катарсис уступает место катарсису полноценного соединения с мирозданием, особой вертикали настроения и состояния.

Часто встречаешься с такой оценкой Тарковского... *Крепкий традиционалист, к оригинальности не стремится. Поэтика Михаила Тарковского – реалистическое, без яркости портретов, без сумасшедших коллизий изображение городской и деревенской жизни, Сибири и Москвы в их сложном взаимодействии, с предсказуемыми для патриотического фланга оценками. Всегда к месту воспоминание об отъезде писателя из Москвы в сибирскую глушь, его охотничья жизнь, знание провинциальных контекстов, общение с природой и умение воссоздать радость этих принципиально не столичных встреч...*

Я вижу Тарковского несколько иначе. Избыточной созерцательности нет в его прозе. Обыденная жизнь рядовых героев – учителей, водителей, журналистов, малоизвестных писателей – скрывает миссионерский пафос автора. Тарковский в границах сюжетов выстраивает проповедь о значении русской литературы. Он называет ее “младшей сестрой молитвы”, предстает перед нами учителем литературы – не школьного предмета, а должного, даже спасительного состояния сознания. Здесь Пушкин, Гоголь, Достоевский, Бунин делают столь же важное дело, что и православный священник.

В автобиографическом рассказе “Бабушкин внук” Тарковский пишет о воспринятой с детства триаде: природа – литература – храм. Мне не хватает внутреннего конфликта в этом тройственном союзе, сюжета о борьбе природы с храмом и храма с литературой. Однако главная особенность тарковского мира именно в гармонии этих спасительных первоначал. Последняя фраза рассказа “Осень”: “Кто служит вечной красоте, не боится повторений”.

“Полет совы” сейчас самая обсуждаемая повесть Михаила Тарковского. Тридцатилетний Сергей Скурихин переезжает в деревню: “...Карта русского духа России выглядит нынче как обратный портрет карты населения: в наименее населенных местах мы наблюдаем его наибольшую густоту. Мое решение работать именно в таком месте, кроме желания набраться силы и разгладить душу простором, было вызвано желанием отпиться этим взваром неизбежности, вековечно питавшим нашу литературу”.

Оставив суету городского образования, учитель русского языка и литературы не только знакомится с сельским вариантом суеты, но и укрепляется в своей главной мысли – борьба за Россию везде. Можно трудиться в мегаполисе, есть шанс раствориться в более скромных пространствах. Однако для защитника Русской идеи фронт не имеет границ. Каждый урок, любой диалог с директором или коллегами – это противостояние новейшей философии жизни. За ее потребительским, вроде бы рационально-житейским фасадом располагается идеология навязываемого русскому народу поражения.

С одной стороны, герой окутывается сибирской природой, проваливается в общение в простыми односельчанами. Да и проваливается в холодную реку, чудом спасаясь от смерти. С другой стороны, при малейшей возможности его речь о господствующих конфликтах нашего времени возвращается. Важно, что Тарковский показал большое село без храма. Учитель Сергей Иванович в этой точке русской земли – единственный священник.

Православный иерей есть в повести “Фарт”. Вот как отец Лев освобождает от избыточной ритуальности: “Братья дорогие, не перегружайте книги церковной риторикой, не красуйтесь цитатами из писания, пишите житие современного человека, в котором воплощается русский духовный идеал”. Что ж, важная задача для пишущего человека – пройти между закономерной духовностью литературы и фарисейством безапелляционного обладания истиной.

Ведь бывает так: настолько ты вместе с Богом прав, что любой иной не дотягивает до твоей планки, уже инквизиторской.

Священника слышит скромный писатель Игорь Баскаков. Он начинает импровизировать с ответом на вопрос “Что такое литература?” Есть правда жизни. Правда литературы. И просто правда. “Искра какой-то единственной правды, искровая правда открывается, когда пишешь... об этой земле, вот прямо... Стоя на ней! Ничего не надо ждать. Искать специально. Высасывать из пальца. Такое счастье... Это не литература. Это... Я не могу объяснить!.. Когда якорь под тобой. А литература – все остальное!”

Интуиция Тарковского – в следующем. Писателю все можно: быть идеологически дерзким и одновременно бесконечно добрым в отношении человека, быть сюжетно скучным и неполиткорректным, религиозным, эстетически сложным или – вдруг – простым, быть публицистичным, тут же представ мистиком... можно, если полностью посвящен Русской земле, ее интересам.

Михаил Тарковский верит, что художественное произведение должно стремиться к духовно положительному финалу, что смерть человека при любой возможности обязана отсутствовать в сюжете. В повести “Фарт” самый заметный герой – Серёжа Шебалин по прозвищу “Ёжик”. Возможности автора в движении этого персонажа хорошо видны. Душа любой компании, владелец и умелый пользователь остроумнейшего лексикона. Нет проблем с цитированием наизусть “Черного человека”, и тут же пить – в есенинском стиле. За плечами отличное археологическое образование, с юности прекрасный английский. Какие-то совместные дела с иностранцами. Деньги, деньги, деньги. Вихрь! Никогда для себя, всегда щедро делился. И летел на огромной скорости. Поэтому из многих хороших женщин выбрал плохую, а с водкой остановиться не получилось никак. Был талант – в нужный момент помогать другим. Сейчас меньше этого таланта. Жена ушла, финансовые связи как-то скукожились, потом и вовсе иссякли. Избыток, скорость и душа на ветру. Злоба и отчаяние. Ненависть, отвержение Бога – интоксикация, которая захлопывает дверь. Просто никто не в состоянии помочь.

Автор любит поднимающихся героев. Тот же Сергей Иванович из “Полета совы” – движется к образу учительской праведности. Писатель Баскаков из повести “Фарт” через суету, искушения с женой – к покаянию и молитве. Видимо, по замыслу Тарковского, вопрос о спасении Шебалина должен объединить героев “Фарта”, читателей да и самого автора.

Как противостоять разрушению? В том числе быть учителем литературы. Не позволять себе быть в беллетристике – в мнимых, обманно художественных текстах, написанных автором без страданий и любви для читателей, ищущих только релаксации и модных мыслей. Считать “беллетристикой” облегченное мировоззрение, работающие на снижение, мешающее человеку, подобно сибирской сове, “буквально вложиться в небо”.

Но самое главное – радостно принимать сложность мира: в явлении внутренних и внешних портретов (Тарковский не жалеет сил в их создании), не экономить себя в движении личного сюжета, которому не обойтись без активной помощи ближним, без мировоззренческих баталий, без самой мысли о том, что человек все-таки добр, в Боге нуждается, а не в его антагонисте. И помышлять, конечно, о “совершенстве замысла”, без которого, по Тарковскому, ни совершенной литературы, ни спасительной жизни не существует.

Не могу сказать, что Тарковский – мастер заголовка. “Полет совы”, “Фундамент”, “Стройка бани”, “Фарт”, “Ледоход”, “Осень”, “Таня”, “Васька” – все это звучит не слишком энергично, не подчиняет авторской воле. Среди исключений – повесть “Замороженное время”. Здесь уместно объяснение самого автора, отвечающего на вопрос об “особом подтексте”: “...Такого подтекста нет. Я не люблю подтексты – это для интеллектуалов. Просто зима – мое любимое время года, когда ощущение покоя, как будто времени нет вовсе. Я себе представляю, как 200–300 лет назад у морозного окна горела свеча, точно так же кто-то смотрел на эти узоры на слюде, только, допустим, молился, размышлял. Зима – это наше Отечество, не говоря уже о том, сколько раз она спасала от иноземных нашествий. Сейчас она должна спасти от духовной интервенции. Человек должен в это лихолетье заморозить все лучшее в себе, чтобы его не размыло, не растопило-съело всем этим потоком скверны, которые на нас льются со всех мировых дыр и из дыр в идеологии. Ничего не спасешь, пока не будет противодействия и противоядия активного...”

Единственный и уже много лет продолжающийся роман Тарковского называется “Тойота-Креста”. Даже с учетом всех контекстов и лексических ассоциаций название представляется мне не слишком удачным. Машина остается машиной. Техникой пахнет и зависимостью от того четырехколесного друга, который далек от реализуемой в книге духовной программы.

И все же “Тойота-Креста” – современная версия средневекового рыцарского романа. “Стоп! – возьмет слово начитанный студент-филолог. – Какой еще рыцарский роман. Что общего у повествования Тарковского с “Тристаном и Изольдой”, “Ланселотом”, “Парцифалем”? Там приключения постоянные, турниры соответствующие, Прекрасные Дамы с идеальной любовью, чудесные леса, замки и память о Небе, о христианском идеале. Где это все у Тарковского? Сибирские трассы, подержанные машины, долгие-долгие разговоры о провинциальном быте и новейшем русском несовершенстве... Да и главный герой – какой-то тормозной Женя, на лихого рыцаря совсем не похожий...”

В глубине романа происходит следующее. Несогласный с прагматизмом XXI века человек-душа поглаживает своего доброго коня (замаскированного под японскую машину), воспринимает его как по-настоящему живого друга, ищет приключений на малолюдных дорогах, окруженных густыми лесами. Еще этот человек-душа помнит о заколдованной Родине, знает о ее многочисленных врагах, думает, как справиться с ними. Также он пребывает в постоянном поиске идеальной женщины. Она должна помочь в восхождении, стать верной подругой по замене горизонтали (жизнь ради брюха) вертикалью (жизнь ради духа). Герой знает о реальности Бога. Однако нет, как у действительного рыцаря, религиозного покоя. Есть поиск Отца и Спасителя. Чем ближе финал, тем заметнее Церковь, призванная принять душу, успокоить ее. Нет фиксируемых сюжетом чудес? Ничего, зато есть понимание жизни как чуда. Только так можно сохраниться в мире, который все больше и заметнее склоняется к мрачному потребительству, к гламуру и пустоте безбожной повседневности. Жизнь должна быть богослужением в формах, востребованных своей эпохой. Так в классическом рыцарском романе XII столетия. Так в романе Михаила Тарковского “Тойота-Креста”.

Правда, рыцарский роман – центростремительная словесность: событий много, разговоров мало, композиция четкая, резко устремленная к кульминации и финалу. “Тойота-Креста” сделан иначе: акцент – на протяженности, на неторопливости и какой-то специальной затянутости. Слово автор, выступающий нравственный текст, верит в целительность качественного многословия и теплой совместности, объединяющей героев, писателя и читателей. Тарковский не желает насыщать роман фабульными (рельефно-событийными) центрами, оставляет нас в повествовании, которое больше напоминает протяженность и некую риторическую остановку, чем движение к цели.

При этом высокоскоростная машина редко исчезает из романного кадра. Признаюсь, где-то в начале третьей части “Тойоты-Кресты” оказался я в приступе недовольства: “Одни машины, другие тачки, третьи... Все – иномарки, о каждой с любовью, по отдельности, с явлением и механизмов, и персональных имен этих надоевших железных лошадей... Какой-то там Бог, какой идеал... За всеми разговорами о плохой Москве и доброй провинции скрывается сибирский эгоцентризм, надоевшая ненависть к столице, будто одни москвичи во всем и виноваты... И опять машины, машины... Чем занимается герой Женя? Перегоняет востребованные иномарки из дальних русских пределов в более близкие, где заплатить способны. То есть деньги зарабатывает – в самом ярком стиле 90-х годов. Так к чему слова о духовности? Длиннющие разговоры под водку – в это верим. То, что старший брат ушел к молодой – понимаем. То, что младший брат осел в столичном Вавилоне и пытается качать там финансы – знакомо. Может, это и есть эпицентр производства? И все наши предположения о рыцарстве просто ошибка?”

Это лишь минута читательской слабости. Нельзя не отметить желание Тарковского предложить нам духовно оптимистический роман о том, что верная дорога может быть обретена, и разнообразные машины все-таки привезут к храму. Но дело даже не в этом. В романе есть то, что умники могут называть “ремарковским началом”, хотя и на северный лад. Мужская дружба, множество использованных шансов для оказания помощи, беседы о жизни и смерти, о России и Западе. В тексте совершается литературное перенесение

столицы в сибирскую провинцию, где ждут человека два батюшки. Во-первых, “батюшка Енисей” — природный целитель, очиститель от городской скверны. И батюшка православный, к которому стремится Женя Барковец. И пение на клиросе будет, и время для исповеди настанет.

Автор слишком любит своего героя, как к долгожданному ребенку относится к нему. Тарковский хранит Женю на дорогах, следит за его внутренней работой, осторожно, не торопясь, всю третью часть романа везет в Церковь. Насколько герой автобиографичен? Много ли в нем от Тарковского? Вот авторский ответ: “Очень много. Хотя сказать, что Женя является олицетворением автора, нельзя, потому что Женя Барковец вообще герой условный и сказочный. Нигде не дается его портрета, не совсем понятно, на что он существует и как именно проходят его рабочие дни. Мало рассказывается о его доме (только в третьей части), умалчивается о родственниках. Скорее, Женя это некая духовная емкость, дающая возможность вместить наиболее важные и волнующие душу миры. Условностью своей он вообще ни на кого не похож, а мирами его наполняет (конечно же) автор, вкладывая в него пережитое. Женя из тех героев, которые намного лучше тебя самого, он будто отражение самого святого, что тебе дано богом, или хотелось бы, чтоб было дано, что просишь. Женя — хранитель земли русской, он находится в вечном бессонном дозоре, озирая ее то с Курильских островов, то с серпантина в Култуке, то с моста “777”. Ты настолько привыкаешь к его защите, что уже не можешь без него жить, потому в таких книгах и очень трудно поставить точку”.

Возможно, все это (прежде всего, христианский вектор становления героя) усложняет отношения Жени с женщинами — самый заметный сюжетный центр романа. Есть простая, без тайн и загадок, всей душой преданная Настя из маленького сибирского городка. Прижаться к ней, родить детей, продлить незамысловатый быт до вечности? Нет. Вот и станет жить библиотекарь Настя со старшим братом Михалычем. Есть встретившаяся на дороге Ирина Викторовна. Покорить ее искренним словом, довериться хотя бы придуманному знаку судьбу, обещающему совместность? Нет, не получается у нее, да и него не получается.

А вот в шукшинских местах появляется поющая журналистка Катя. И какие слова находит здесь Тарковский! “От Кати он уже не отходил. Простота какая-то домашняя была у этой девушки. Женя давно заметил, что женщины по-разному говорят с миром: одни — как дамы, другие как любовницы. Катя говорила как жена, и казалось, что если чем и можно совладать с ней, то только предельной честностью. Таким он и стоял перед Катей — высеченный до самой дальней душевной стенки”. (Еще раз отмечу — уже в скобках — что внутренняя форма речи сильнее здесь выстраиваемого сюжета.) И с Катей не быть вместе. Рискну предположить, что сильная и красивая девушка, полная энергичного бытия, присматривалась к Жене Барковцу и нашла, что героическое в нем (есть, конечно, есть!) как-то причудливо объединяется с обломовским (не без этого!) и препятствует возможному счастью.

Но больше всего сказано о московской телевизионщице Маше. Имя красивое, сама хороша, к Жене тянется, угадывая в нем настоящее. И живут какое-то время вместе — то в Сибири, то в Москве. Вроде есть любовь. Нет перспектив. Удивительно, что читатель, видя гламурность и некую изощренную опытность Маши, понимает это быстрее, чем герой, да, пожалуй, и раньше, чем сам автор. “Он стоял как в шкуре, в броне своих точных рук, мышц, загара, опыта. Он пошевелился, и все это заходило, заскрежетало и зачесалось, как короста... и все мужское, нажитое стало отслаиваться, отпадать коркой, пока он не превратился в огромного ребенка с пульсирующим багровым нутром и тонкой кожей. И ребенок этот ревел: верните мне мою Машу”, — это о Жене.

“Слова значат всё. Просто они бывают разные. Есть слова-слова, а есть слова-поступки. А есть слова, от которых мы становился другими. О словах надо думать”, — это он Маше. Молодой женщине интересно. “А ты сможешь меня содержать?” — все-таки это Маше важнее. Чтобы перенести глубину и вытерпеть духовную жажду, кое-чем надо жертвовать. Особенно женщине, если мужчина жаждет без обмана. Поэтому в романе (возможно, он продолжится) Женя остается один. Или потому один, что храму он все-таки предназначен?

О мужчине и женщине — лучшие для меня в тарковской прозе слова: “И, когда зверь бродит в одиночку, сизый от лунного света, есть в этом что-то и рвущее

душу, и величественное, и лишь человек жалок в своем бездомье, и нет ничего важнее дома. Но для мужчины жизнь — нарастание главного, и ширится он постепенно, а женщина чуть не с истока главным разрешается, а потом всю жизнь дотихает им, поэтому и живут оба в разные стороны, и нет ничего труднее дома. Есть великие излучения природы, и женщина их часть, и, чтобы детей вывести, ей даже от самой себя заслон нужен, и не товарищ она там, где суждено бродить тебе, как зверю, в извечном одиночестве. И есть две тайны в жизни — глубь женщины и даль пространства, и, как ни тщишь, не пересечь их за горизонтом”. Это из повести “Енисей, отпусти!”

В третьей части романа “Тойота-Креста” Михаил Тарковский прочно становится на платформу духовно-патриотической прозы, разгоняя пессимистические тучи и сближая героя-себя-нас с реальностью православия. Даже образ Шукшина тяготеет не только к праведности (“канонически русское лицо Василия Макарыча”), но и к особой святости подлинного русского писателя... Храм, клирос, хор, мысль о соборности, беседы со священниками...

Буддийское и гностическое начала царят в современной прозе: да расплывется в пустотной виртуализации все материальное, телесное, да сгинут в неосинкретизме любые формы классических мировоззрений! Символический Гамлет, легко открывающийся в ближайших подтекстах, предлагает не отходить от могилы, пристально всматриваться в *Иорика* и говорить-говорить-говорить о том, что обречен человек, и нет рая для добрых и ада для злых. Михаил Тарковский в антигностическом усилии учит любить тело земли, леса, воды. Не Гамлету он предоставляет сюжетное поле, а *Дон Кихоту*, одержимому чудом, любовью и защитой благородства. Кихотическое начало у Тарковского лишено эксцентрических движений и явлено как ждущая просветления повседневность. Например, у героя повести “Енисей, отпусти!”: “Из людских слабостей Прокопич не знал ничего хуже сытого деления на мое — не мое, так давившего его в Люде, и, когда это душевное сальце почудилось ему и в Наталье, настала катастрофа”.

Это ему — охотнику Прокопичу — дано чувствовать “огромные пространства для счастья” и участвовать в постановке одного из главных тарковских вопросов — о земном рае, о достоинстве жизни-радости. Охота (первое дело многих персонажей) у Тарковского — без захвата, без крови, без инстинкта громкой победы. Охота больше похожа на паломничество, посылает сигнал о русском рыцарстве — служении Богу, природе, литературе. Охотник — мастер внутреннего разговора о мире и человеке. “Чуткое к невыразимой красоте природы сердце охотника” — это сердце *Дон Кихота*.

В лучших книгах автор “Тойоты-Кресты” и его герой видят “огромное дерево, оно лежит, и вдоль него всю жизнь едешь, едешь и можешь даже до вершины... не дожить. Но это неважно. Важно, что с этим деревом хорошо и спокойно”. Думаю, что именно такую книгу создает Михаил Тарковский — один из самых интересных писателей наших дней.